## ЛЕГЕНДАРНЫЙ БАГРИНЦЕВ

Когда я приехал в середине семидесятых годов прошлого века в Петропавловку, в газетно-творческой среде этого окраинного райцентра на слуху было два имени: Юрий Бобоня и Алексей Багринцев. Что касается первого, то тут все понятно: бурная жизнь не слишком дорожащего «анкетной репутацией» поэта, похвалы-авансы известных писателей, трагическая ранняя смерть, только добавившая красок в палитру местного мифотворчества. А вот второй…

Чем же человек этот прославился, почему стал местной легендой?

Благодарный «фольклор» рисовал в воображении отнюдь не былинного богатыря: невысок, сухощав, по-мальчишески порывист. Работал редактором районной газеты. Номенклатура! Но при этом — не по-начальственному смел, остер на язык. Горой стоял за справедливость. Фельетоны свои оттачивал, как бритву, и то «бритье» бессовестным да нерадивым помнилось долго. Мог «отбрить» и в рифму, причем, что называется, невзирая на лица. Один из моих собеседников, хорошо знавший А. Багринцева, процитировал как-то его шутливое «бунтарское» четверостишье, направленное против «главнонадзирающих» за газетой партийных функционеров:

Знаю цену сам себе,
Не люблю тиранов!
Что мне Плотников Ю.Б.,
Сашка Калайтанов?

Конечно, такие «творческие выплески» долго оставались на слуху. Но стихи писал Алексей Багринцев не только шутливые. Правда, «серьезные» стихи явить широкому читателю не пытался, изредка читал их в дружеском кругу, когда был в подпитии. Трезвым он стихов своих будто бы сторонился, стеснялся. Фронтовик, газетный зубр — и вдруг такая застенчивость, чуть ли не девическая — не странно ли? На мой взгляд, ничего странного в этом нет. Будучи признанным мастером в журналистике, Алексей Багринцев, видимо, понимал, что в поэзии столь значительных высот он вряд ли сможет добиться. А быть «одним из многих», в зрелых летах ходить в начинающих он не хотел.

Заинтересовавшись фигурой оставшегося в памяти земляков «мятежного редактора», я нашел его опубликованные стихи. Их было совсем немного. Не скажу, что стихи эти поразили меня своим совершенством. Но от строк, даже не самых совер-

шенных, веяло обаянием неординарности, в них тут и там попадались «зернышки» высокого поэтического смысла. Позже я узнал, что в начале своего кочевья по редакциям воронежских районных газет, в райцентре Новая Калитва, Алексей Багринцев был близко знаком с Алексеем Прасоловым, и будущий классик посвятил ему стихотворение. В том стихотворении были строки, которые вдумчивому читателю способны сказать многое: «Ах, как я рад, что встретился с тобою, / что схожи мы по чувствам и судьбе».

Алексей Багринцев

После смерти А. Багринцева — скоропостижной, в сорок восемь лет — его стихи не канули в безвестность. Они публиковались в коллективных сборниках, в 2005 году Станислав Никулин включил стихотворение Багринцева «Он приезжал обычно в мае...» в изданную Центрально-Черноземным книжным издательством представительную антологию стихов о войне «Шел солдат...» В 2013 году журнал «Подъём» опубликовал подборку стихотворений А. Багринцева в рубрике «Живые имена». Что же позволило этим стихам остаться с нами? Они не поражают изысканностью слога и буйством метафор, в них нет того, что называется тщательной профессиональной отделкой. Зато в лучших строках слышится стук взволнованного, искреннего человеческого сердца — и читатель не может на это не откликнуться.

А еще на строках А. Багринцева лежит явственный отсвет времени. Вот поэт пишет о памятном свидании с любимой, которая скоро станет его спутницей по жизни на многие годы:

В небе тучи синели,
секла осень крупой.
Мы в колючесть шинели
запахнулись с тобой.

«Колючесть шинели» здесь — не случайный, притянутый за уши образ, а точная поэтическая подробность трудных послевоенных лет, без которой неполной будет не только судьба автора, но и судьба страны.

Свет поэтического мира А. Багринцева — не яркий, но милосердный, сострадающий. Вот глухонемой сосед приносит лирическому герою «книжечку — Есенина стихи» и просит прочесть. Вроде просто — прочесть стихи, но как это сделать — «как их смысл переложить на руки?».

Начал с суки: как бежала вслед
за хозяином и выла, выла.
Как она роняла слезы в снег.
И как скорбно ей и больно было.
Видно, понял все глухонемой —
замычал,
припал лицом к забору...

Здесь как раз тот случай, когда из серой вязи обыденных строк выпрастывается вдруг подлинно поэтический образ — убедительный, волнующий, зримый. Это дорогого стоит. Ведь поэзия, если вдуматься, это бесконечная попытка «переложить на руки» сокровенный голос «немой» человеческой души.

Алексей Иосифович Багринцев (1926–1974), без сомнения, поэт советский. Об этом говорят не только указанные в скобках годы жизни, но и рукопись, собранная невесткой поэта, Татьяной Багринцевой. Когда я читал эту рукопись, рядом со мной были и «Первый секретарь» («Он первым на маевку выходил / и первым выходил на баррикады»), и «Старик» («В кавалерии Буденного / на врага орлом летел»), и «Чапаевец» («Ему казалось: щелкни выключатель — / и он всплывет, израненный комдив»). Не все это сегодня поймут. Но тем, кто возьмет на себя смелость судить поэта, я задам всего два вопроса.

Вы знаете, как в годину горькую «коров запрягают цугом»?

Вы уходили в «огонь и дым» солдатом — «не молодым, а несовершеннолетним»?

Нет? Тогда отойдите в сторону и слушайте, молча, что говорит нам поэт. Он заслужил это право — быть услышанным.

Александр НЕСТРУГИН

* * *

Коров запрягают цугом:
три пары — вое к вою.
А пахарь идет за плугом
и думу несет свою.

О чем он думает, пахарь,
В тринадцать — пятнадцать лет?
О том, что житье — не сахар?
О мамалыге? Нет…

Хотя мамалыга тоже
не хуже пищи любой.
Я матери врал безбожно,
что кормят нас на убой.

Неделями дома не был,
тянул из последних сил.
Я ел кулеши без хлеба,
а хлеб домой приносил.

И мать головой качала:
— Зачем ты?..
Но я молчал.
И это было начало
житейских больших начал.

Мы шли бороздой
со страхом:
нас снайпер на мушку брал…
высокое звание — пахарь,
не ниже, чем — генерал.

Я с детства запомнил туго
ту, первую, роль свою:
коров запрягают цугом:
три пары — вое к вою.

* * *

А сходит ли детство тонко на нет?
Или обрывается круто?
Мое оборвалось в пятнадцать лет —
всего лишь одна минута.

Минута,
когда за деревней — там,
где дети резвились звонко,
чужой, из далека пришедший танк
подмял под себя ребенка.

Мальчишка остался лежать у рва,
по-мертвому глядя дико.
Но детство не стало волосы рвать,
оно не зашлось от крика.

Катился потухшего солнца круг
над танками
по небосводу.
И детство утратило сразу, вдруг
бездумности позолоту.

... Нет, детство мое не сошло на нет
беспечно, легко и просто —
оно запахнулось зябко в шинель,
пошитую не по росту.

И зыбко шагнуло в огонь и дым
Безоблачным утром летним.
И стало солдатом.
Не молодым,
а несовершеннолетним.

* * *

И опять ты плачешь, серый ку́лик,
крик твой — безысходная тоска,
он напоминает посвист пули
в тишине
у самого виска.

Не напоминай ты мне об этом.
Я прошел сквозь черную грозу.

И теперь,
Людским добром согретый,
в сердце
песню звонкую несу.

Но не тем,
кто отливает пули, —
тем, кто пули плугом запластал.
...перестань ты плакать, глупый ку́лик, —
я давно уж плакать перестал.

* * *

*Жене*

Платье — ситец немаркий
по семь гривен за метр,
очень скромный, неяркий,
без особых замет.

Чуть поношен беретик.
Взгляд — смешливый такой.
Я такой тебя встретил
И запомнил такой.

В небе тучи синели,
секла осень крупой.
Мы в колючесть шинели
запахнулись с тобой.

Ты так робко прижалась,
доверяясь вполне.
И не страсти, а жалость
пробудила во мне.

Как горох при дороге,
говорят, сирота.
И соблазном для многих
была та красота.

Тебя прежней я вижу,
и другой тебя нет.
Ты такая мне ближе —
без особых замет.

* * *

Он приезжал обычно в мае
откуда-то издалека.
Шутил, что комнату снимает
просторную
у Лешака.

Он покупал харчи в деревне
и шел к затону босиком.
Он нам казался очень древним
волшебно-добрым стариком.

Он жил все лето у затона
в духмяном, тесном шалаше.
И говорил, что даль за Доном
ему, бродяге, по душе.

Но был рассеянно-задумчив,
когда по строчкам козьих троп
угадывал на белой круче
другим невидимый окоп.

Туда наведывался часто,
бродил по круче меж камней.
...Он, видно, с юностью встречался —
с окопной юностью своей.

Ему, как видно, в девятнадцать
огнем здесь юность обожгло.
И потому
ему расстаться
с землею этой тяжело.

## ГЛУХОНЕМОЙ

У меня сосед — глухонемой.
Он не знает,
что такое звуки,
и когда беседует со мной —
то и дело вскидывает руки.

Чтобы рассказать про паровоз,
он гудит,
а локти — словно поршни...
А однажды книжку мне принес
и велел читать как можно больше.

Книжечка — Есенина стихи —
как их смысл переложить на руки?
Но с немым лукавить не моги —
Передай и радости, и муки.

Начал с суки:
как бежала вслед
за хозяином
и выла, выла.

Как она роняла слезы в снег.
И как скорбно ей
и больно было.

Видно, понял все глухонемой —
замычал,
припал лицом к забору.
...Часто мы,
особенно зимой,
с ним ведем немые разговоры.
Но когда по радио — концерт,
и сидим мы с ним за чашкой чая,
я встаю
со скукой на лице
и тайком
динамик выключаю.

Перед ним не чувствуя вины,
я хочу, чтоб он не догадался,
что помимо бездны тишины
есть еще и оперы, и вальсы.

* * *

Ничего не надо —
ни казаться мудрым,
ни вздыхать, ни думать
под навесом крон.
Вот опять пришел я
рано-рано утром
поглядеть на стылый
предосенний Дон.
Поглядеть, как листья
падают — не тонут,
падают бесшумно,
облетая с лоз...
Сколько их пропето
над спокойным Доном,
песен, полных радостей,
горестей и слез!
Ничего не надо.
В этом тихом месте
пусть молчит транзистор,
пусть молчит лоза.
Дон, седой и тихий,
молодую песню
допоет, доскажет,
что не досказал.
С желтой кручи в заводь
пусть глядят деревья.

Я молчу, я слушаю
дальних предков зов.
В тишине мне чудится:
разинская древность
с песней-гиком катится
на седой Азов.
Ничего не надо,
ничего не требую.
В жизни повидал я
дальние края,
А теперь я вижу —
синева над вербами
безмятежно-чистая,
русская, моя.